

1584к

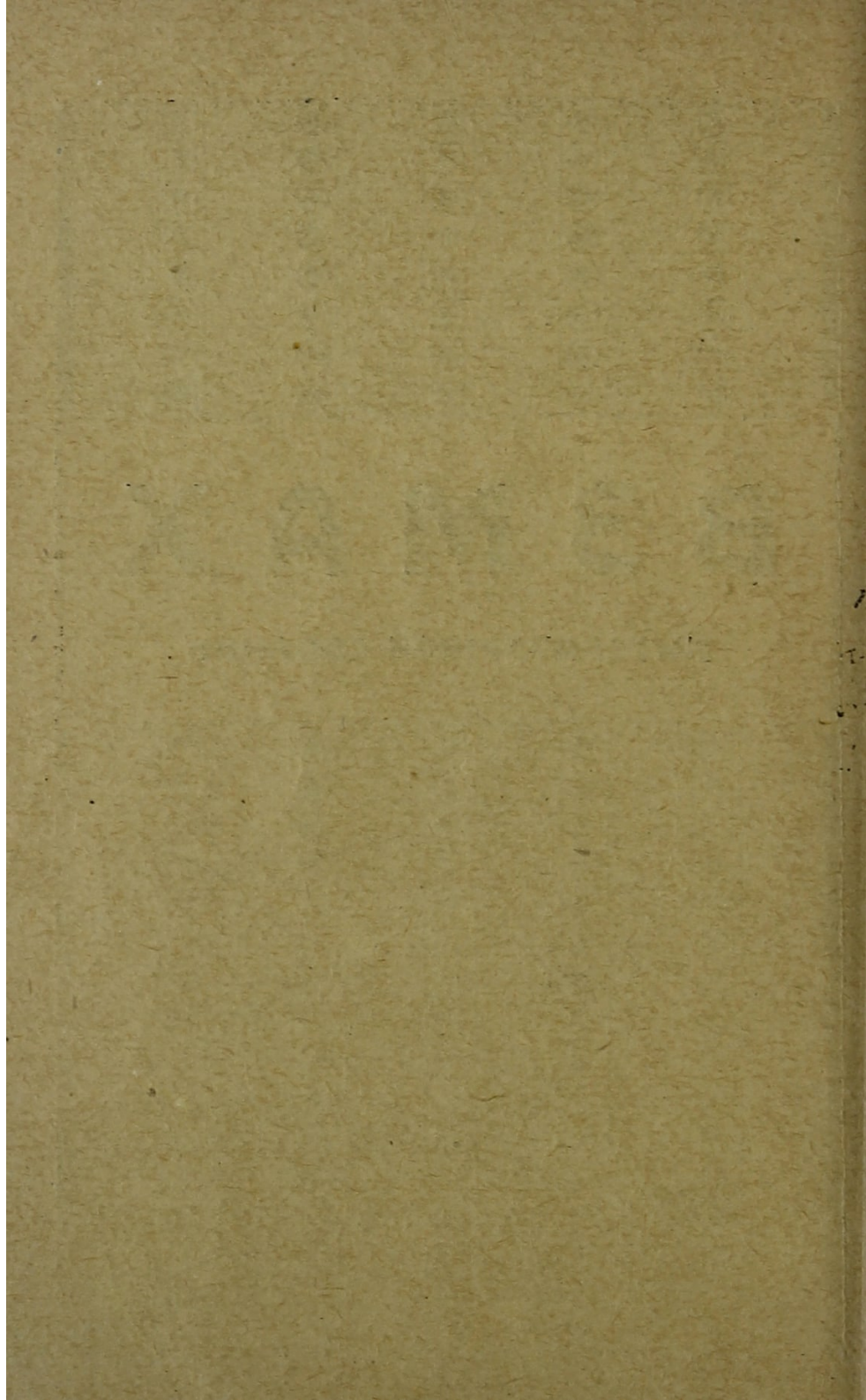
Ивановская обл. Научн. библи.

Отдел Краевой

ВЗМАХ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК

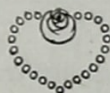
2010



КИНЕШЕМСКАЯ ЛИТГРУППА РАПП'а

В Э М А Х

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК



Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевой

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА“
Г. КИНЕШМА. ••• 1929.

1941

94

ТИПОГРАФИЯ
имени В. И. ЛЕНИНА
Ив-Вознесенского и Кинешемского
Райсоюзов Кооперативов в Кинешме
Гублит № 521. Тираж 1500.

РАССКАЗ ПРО КОВБОВЕВ

За фабрикой, в березовой роще выстроили тесовый театр. Принялись строить его сразу же после снега, но в фабкоме кто то украл из построечных денег триста рублей и сарай выстроили только к первым летним дням. Стали казать картины и ставить спектакли. Рабочие ходили в рощу целыми семьями. Дожидались сеансов целыми часами под шелестом обнявшихся белоствольных подружек, жадно вдыхая небесный воздух. С этих пор фабричные девушки стали живее и лукавее. Появились у них интересные улыбки, порывистые походки, жгучие взгляды. Стали искать они у парней более совершенных ухаживаний и ласк.

За рощей лежала в мягких об'ятиях осоки речка. На запруде устало журчал водоспад. За рекой распахнулись луга, взгорбились поля. Рожь с'агитированная ветром, таинственно перешептываясь, будто шла затопить фабрику. Далеко в полях две мельницы вертели крыльями — казалось — катился самодельный мужицкий велосипед. Клевера источали медовый дух. Даже вентиляторы приохотились к медовому духу и загоняли его в корпуса для запыленных легких работниц.

Из разговорчивых оржаней, из душистых клеверов, из мрачных овсов, узенькими полевыми дорожками, заросшими межами приходили на картины и спектакли деревенские парни. Приходили без девок. Были они широкоплечи, загорелы и замкнуты. Садились они к стóронке и смотрели широко-раскрытыми глазами,

боясь пошевелиться. Когда же оператор воровал у зрителей текст, они жадно и обиженно кричали:

— Давай читать!

— Крути легше!

* * *

Вася Воробейчиков с Тонечкой смотрели вместе третью картину. Третья картина мучила головы, обжигала сердца. Девушки томительно взвизгивали. Работницы закрывали рты ревушим зрителям, еще неспособным воспринимать искусство.

Ковбой Фрэдди Эмерсон носился по солнечным просторам на своем великолепном мустанге. Неповоротливые злодеи увезли девушку семнадцати лет, а Фрэдди Эмерсон, смеясь и играя, разбивал воров, вскидывал на седло стройную, гибкую красотку и мчал ее по любимым просторам к месту жительства. Пользуясь юным простодушием Фрэдди Эмерсона, злодеи опять умыкали простенькую бесслезную красавицу.

Фрэдди, потряхивая кольцом, бросался на своего мустанга и скакал. Мчался, как порыв. Как мечта. Как сердце, если бы имело крылья.

И опять, бережно обняв девушку, он мчал ее к счастью. Она дарила его неземными и такими многообещающими улыбками, что даже у старых рабочих кружилась голова. Тоня забыла банкаброши, Козью слободку, дом отца ткача и взволнованно прижималась к Васе, как спасенная к Фрэдди и все время помнила, что она не хуже американской девушки в сереньком платьице и только на год старше ее.

Вася изнывал в томлении и потел. Целовал Тоню около уха. Хотел, было, в губы да боялся ее распаленных глаз и стеснялся соседней жонки. Думал... Ах, если бы он не конторщик, а ковбой. Такую бы широкую грудь, как у Фрэдди! Такую бы волю!

Выходили из кино, как со сна. Теряли детишек. Девушки нерадиво принимали ухажеров. На выходе, один из деревенских парней — крепко сложенный,

высокий, с широкими литыми плечами осмотрел с ног до головы хорошенькую Тоню и нечаянно выронил:
— Как с картины.

Другой вздохнул:

— У нас таких нет.

* * *

После двух спектаклей рабочие признали Тоню первой актрисой в селе и после каждого действия с ее участием распирали хлопками и ее фамилией театр:

Голу-у-бкин-ой... Го-о-олубки-и ной... Бис.

Каждое движение ее руки было значительно, каждый взгляд важен, повороты и изгибы красивы. На сцене она не тушевалась и трогательно говорила легким голоском. С подкрашенными бровями и губками ходила она на сцене красавицей. Воробейчиков сидел оцепенелый и очарованный, а в стороне, в группе деревенских парней хмурились под густыми бровями серые глаза. А когда возвращались после спектакля домой, приятели ему говорили:

— Что ты, Никита, приуныл? Не засни на ходу!

Шли они полевой тропкой, которая представляла из себя желобок, протоптанный в густой мураве. Чтобы не размочить и не испортить праздничных ботинок, они разулись и загнули штаны.

Небо хвастливо форсило перед тучными равнодушными полями радостью сияющего рассвета. В деревнях играли мотивы „Ваньки ключника“ и „Уж ты день, ты мой денечек“ пастухи на рожках, мычали коровы, блеяли овцы и все эти ленивые грустные звуки были отчетливо слышны по росистой тишине.

Никита плелся сзади артели приятелей, опустив голову, задумчивый и странный. Им завладела эта красивая стройная девушка. Все его прежние назойливые мечты, прозрачные и неясные теперь затвердели и сплелись в одно острое представление.

Процывали тяжело груженными баржами дни. Его мозг упорно и безостановочно сверлило жадное безумие к этой здоровой и веселой девушке в узкой юбке,

в которой так тесно ее бедрам, в чулках цветом топленого молока. Мысль о ней не оставляла его ни на какой работе. Работал он при этом механически, стал пассивнее, забывал зачем повернулся и отец кричал на него:

— Башку то потеряешь. Али начитался.

За вечерним чаем он клал в стакан две полагающиеся ложки топленого молока и вдруг до мучительности ясно представлял ее стройные ноги и потом всю ее зазывную и сильную: от этой мысли он беспокойно ерзал на стуле и потел.

Напившись без обычного удовольствия чаю, он одевался почище и, чтоб не попасться на глаза приятелям, осторожно проходил улицу и скрывался в поле.

Он шел полем и мечты разрывали его голову. Вот он сильнее Фрэдди Эмерсона и Никита, как бы в удостоверение этого, сжимал правую руку и щупал мускулы и гладил грудь. Лошадь у него быстрее его мустанга. Фрэдди несется вот по этой меже, направляясь на дорогу, что идет краем деревни; Никита несется за ним по пустырю на мельницы, перелетает через угористое поле у мельниц и пересекает дорогу Фрэдди на лугу... Минуты две, три они мчатся рядом, но потом Никита изловчившись выхватывает у Фрэдди девушку, один миг держит ее в вытянутых руках и затем бережно кладет на седло. А девушка не та, что в сереньком клетчатом платки, а Тоня Голубкина из тесового театра, из березовой рощи. Фрэдди изумлен его ловкостью и не будучи уверен в удаче ответного, такого же стремительного жеста, он сдерживает мустанга, восторгаясь достойным соперником. Девушка поднимает руку, касается его раскаленной шеи и пригибает его голову к своей для поцелуя. Никита приходит в себя только увидев перед собой реку. Он долго бродит по роще, везде ищет ее глазами...

... Приходил он так в рощу в течении трех дней, следил за возлюбленной часами, теряя надежду овладеть ею.

Потом уходил мрачный и свирепый, обдумывая путь к девушке.

* * *

В намеченную ночь он лежал в канаве у дороги в слободку. Недалеко за срубами спокойно дышала лошадь, отдыхая в ночной прохладе. Слободку душила мохнатая июльская ночь. Где то в поле вскипал ночной греховный девичий смех. В роще звонкий тенор взвихрил песню и рассыпал ее смехом. Никита чувствовал себя легким и сильным — казалось — он уже победил Фрэдди Эмерсона и что давно ведет жизнь полную отваги и приключений. Долго пролежал Никита, считая звезды, прислушиваясь к ночным шорохам, вглядываясь в темноту.

— Много везде интересу — мыслил он: — цветут и спеют поля, жжет радостное солнце, горят цветные зори, гуляют по земле красивые переполненные ласками девушки... Только все это надо уметь видеть и радоваться, уметь брать, а то так и проходишь по лукавой земле унылым мужиком. Вот — скажем — Тоня... Не придет же она сама да не обнимет, нужна везде смелость.

Впереди замельтешило что то живое.

* * *

...Июльской теплой ночью Тоня шла с репетиции домой. Кто то бросился на нее и накинул на лицо душный плат. Она взвизгнула и обиделась:

Васька не шали!!

Сильные руки обхватили ее и понесли. Почувяв недоброе, она закричала. Рядом захрапела лошадь. Ее подняли, положили... В бок ей уперлась лука седла. — Что это, сон? Я на картине? За мной приехал ковбой Фрэдди Эмерсон? — пронеслось у нее в голове. — Но, ведь, я сейчас шла с репетиции... Мне надо на заработку. Кто то взметнулся в седло. Его рука обхватила ее железным кольцом.

Лошадь метнулась в поле. Тоня билась поиманной голубкой и истошно кричала, но ведь эту тишину не прошибешь пушкой. Лошадь неслась. Об ноги хлесталась рожь. Ночной воздух старательно освежал горячее тело. Испуганно кричали коростели. Наездник прижимал жертву к себе и целовал ее плечо, шею. Эти поцелуи проникали в жилы и спадали по телу сладкой волной. Ночь. Поле. Быстролетный мустанг. Страстные поцелуи. И Тоня от разлившихся по телу хорошбы и удали прошептала:

— Ра-азвя-я жи-и!

Плат повис во ржи. Над ней порывисто дышал мощный, с загорелым простым лицом парень и она улыбнулась ему улыбкой американской девушки.

* * *

...Дядя Степан встал боронить с солнышком. По двору ходила в седле взмыленная лошадь.

— Ба-а-тю-юшки! — ахнул Степан: Никитка куда ты гонял! Дядя Степан расседлал лошадь и дал ей травы. Сына он нашел в сарае на свежем сене.

— Никита, ты куда же это, стервец, гонял? — спросил отец. Никита не отвечал. Отец подвинулся ближе и увидел рядом с ним красивую девушку. Отец понял все, попятился и сказал:

— Ты, кот, за это три года отсидишь!

— Отсижу! — спокойно ответил Никита.

— А где седло взял?

— В совхозе.

Старик вышел из сарая и покачал головой:

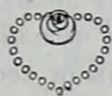
— Вот орел!

* * *

Село дрогнуло, будто у него отрубили палец. Тайнственность повисла непроглядным туманом. Тоня Голубкина исчезла. Искали ее два дня и не нашли, а через четыре дня, в воскресенье Тоня гуляла в роще с новым любимым, так как девушки любят синема-тограф, ковбоев, солнечные дни и жаркие ночи.

Воробейчиков оставил записку: „грубым дается радость, нежным дается печаль. Прощайте! Прощайте! Интересного нет на земле. Была в селе одна красивая девушка, да и ту у меня грубо вырвали. Ухожу туда, где не звенит лебяжьей шеей рожь. Василий Воробейчиков“.

В сердце себе Воробейчиков не попал. Говорили он стрелял в оттянутую кожу. Конечно, могли наврать. Одно ребро всетаки перешиб.



НА ПИСЬМО ИЗ ДОМА

Прикатил я в гости
На письмо из дома...
Жалко: деда кости
Стали на погосте
Горстью чернозема.

Ах, меня ребенком
Дед не раз баюкал!..
На чужой сторонке
Плыли весны звонко
У хмельного внука.

Баял дед старухе,
Заклепав косулю:
„Нету-де Митюхи,—
Долетели слухи,
Что попал под пулю“.

Деда в землю с этим
Уложила мука...
Только белых сети,
Пуль секущих плети
Не поймали внука.

У времен в болоте
Вдруг огни блеснули.
Был я весь в работе.
Шел войною против
Дедовской косули.

А приехал в гости
На письмо из дома.
Жалко: деда кости
Стали на погосте
Горстью чернозема.

П Р А З Д Н И К

Ни леса, ни стада, ни поля,
Ни болота машин не видали;
Но обернется в зелень земля,—
Трактора загремят к нам из дали.

Сколько радость в груди не таи,
А игривой струею прорвется.
Ой машины, машины мои,
О вас песня не даром поется!

Край ты липовый, седенький край,
И болотная гниль родовая!
Словно ночь пред лучем, умирай,—
Похоронит тебя мостовая,

Трактора поплывут на кусты...
Мое сердце сольется с их песней,
Меж пластами лесные цветы,
Умирая, вдруг станут прелестней.

В этот миг ничего не хочу,—
На минуту в отлете стремленья...
Дайте, дайте на грудь кумачу,—
Я совью его с нежной сиренью.

Славен праздник машин и весны.
Жизнь—как ветер по рдяной поляне.
Наши флаги свежи и красны—
Словно полдень далеких восстаний.

СТИХИ О БЕТХОВЕНЕ

М. Шошину

За окном московская муть
 Этажи оплела покрывалом
 Трудно нынче мне будет заснуть
 Вспоминаю свежей о бывалом.

За стеною томится роля
 И на двор будто черный кот
 С белых листьев бетховенских нот
 Проползает чужая печаль.

Ну и пусть до утра грустят
 Стылым холодом клавишей кости,
 Не проснется ни боли ни злости
 На крадущихся черных котят.

Пусть отточенный льется мотив
 И тоскует увядшими песнями...
 Вспоминаю весенний разлив
 Где с Петруней шаталися вместе мы.

Ведь земляк мой сказал вчера
 Что прилепился с деревни слух
 Будто в тихие вечера
 Не играет Петруня—пастух.

Говорят что судьба не легка...
 Заболел он родной тяжело,
 И тоскует теперь без рожка
 Приовражное наше село.

И теперь под чужую роля
 Под отточенность умных звуков
 Вспоминается сипяя даль
 И давнишняя наша разлука.

Ах рожок, немудренный рожок
 Сколько свежести в простенькой песне
 Не слышал ничего я чудесней
 Чем твой легкий простой говорок.

Чуть бывало подтеплит заря
 Голубое раздолье дола
 Разольется звеня и горя
 Золотое Петрунино соло.

А мальчишки (совсем мелкота!)
 Понарежут бывало дудок

И за Петиной дивной погудкой
В перерыв наровят стрекотать.
Эх, рояль все зудит и зудит,
Сердце мутит графленным мотивом
Ну куда ж ему спорить с порывом
Что в рожке у Петруни звенит.

Москва (Февраль).

У ПАМЯТНИКА ГОГОЛЮ

(Фрагменты)

Вчера я долго пропадаю
На том Пречистенском бульваре,
Где черный строгий пьедестал
Тоскует о погибшем даре.

По пьедесталу—кружева
Из дураков и негодяев...
Вчера уснувшие слова
На их устах еще блуждают.

И он, закутанный в шинель
Без Селифана и без тройки
Посматривает на панель
Такой измученный и горький.

Кругом резвится детвора
И дремлют городские няньки...
А ночью, чуть не до утра
Простуженные бродят Маньки.

И здесь вот, у него в ногах
Я вспомнил про твою улыбку,
Про чье-то горе, чей-то прах
И чью-то горькую ошибку.

Ошибку? Нет. Конечно нет,—
Какая может быть ошибка!
Боли твой маленький рассвет
Не рассветает очень шибко.

Я помню наши вечера,
Речей простых простые звуки
Ведь кажется еще вчера
Мы на прощанье жали руки.

А вот теперь так далеки
И вечера, и разговоры
И будто их пересекли
Многосаженные заборы.

МЯТЕЖ КОСТИ ВАНЯКИНА

Я сидел на лавочке, наклонясь к земле, и мог видеть лишь ноги и кисти рук проходивших людей.

— Здорово!—вдруг слышу ржавый голос и огромная потная лапища сдавила мне руку—Дай рубль—пропью!...

В воздухе качнулась толстая можжевелевая палка с очень толстым набалдашником. В ее движении я прочитал убедительный намек: „Можешь и не давать, но..“

Вынув все наличные кассы—82 копейки,—я, не глядя, сунул их в потную лапу. Владелец этой лапы тотчас же стал моим соседом по лавочке.

— Надо разводить больше телят..—стал завязывать разговор сосед.

— Что вы сказали?—спросил я, считая неудобным молчать.

— Телят надо разводить... Подрастут—резать можно...

— Телят? да—телята, говорю, они... телята. И пища такая...

— Какая пища?—гаркнул сосед.

— А вот, говорю, эдакая..—В горле заштопорилось. Я сделал нелепый жест, и до слез смутился.

— Люблю вокзалы, пристани, базарные площади,—тяжело тащил слова незнакомец, и после паузы скороговоркой р-рванул: И н-ненавижу бульвары!

Я тайком взглянул на соседа и чуть не расхохотался. Такая рожа у него—как терка. А нос как приклеенная морковь.

— Подожди, идут—толкнул он меня в бок.

Мимо нас прошли две барышни. Которая повыше была заманчиво мила. Она сделала в нашу сторону еле заметный кивок. По лицу светлым зайчиком пробежала довольная улыбочка.

— Видал? это она мне. — А сам гонит взгляд за девицами. Они уходили вглубь, аллеи, оживленно разговаривая на ушко, и часто оглядывались.

Девичьи улыбки, которые я принял на свой счет, слизнули было навеянный незнакомцем страх, но тень этого гадкого ощущения еще сидела во мне. — Бандит. — думаю, — или сумасшедший? И в том и в другом случае одна перспектива: бежать. Расставил ноги и сделал наметку маршрута.

Мысль уже видела, как мои новенькие джимми били твердую грудь бульвара.

— Н-на, почти! — сунул мне что-то сосед.

В моих нетвердых руках оказалось письмо и фотографическая карточка высокой барышни, что прошла мимо нас. На конверте мелькнули два слова: „Константину Ванякину“. Гляжу на ровные строчки письма, на милое улыбающееся с карточки лицо девушки, а читаю страх перед загадочным человеком. Что, думаю, общего между этим бандитом и той чудесной барышней?

И окончательно решил.. что он сумасшедший. Не думая, я нырнул в боковую аллею, и утонул в человеческом потоке.

Когда правая нога уже вступила за пределы бульвара, мой путь преградила та красивая барышня. Нескрывая непонятного мне чувства радости, она смело, но обиженно заговорила.

— Костя! Ты, что какой, право? Как тебе не совестно? Ну здравствуй! — Сбоку подошла другая — Знакомьтесь: моя подруга Аня Студнева. Зазнай и подойти не хочет. Ну пошли!

Взяла она меня под руку и тянет на середину бульвара.

— Скажи: почему ты не хотел подойти? Стесняешься Ани—да?

Игривая. Она торопится, что то много сказать. Прижалась близко, близко ко мне. Я почувствовал власть этой близости, но необыкновенная встреча показалась более странной, чем встреча с человеком, отобравшим у меня последние деньги.

— Позвольте, говорю в чем дело?

— Ха-ха-ха! Что с тобой, Костя?—Удивляется девушка,—неузнал что ли? А я сразу угадала чутьем... Живой ты... лучше—сконфуженно закончила она.

— Живой? а разве, говорю, я есть еще мертвый?

— Ну, Костя, зачем ты так?

Я стоял мешком и ничего не понимал, милый смех и теплое дыхание девичьего тела туманили голову.

— Друг! не будь скотом—отдай, что взял!

— Опять передо мною тот куриный бог, опять та умеющая говорить по своему палка. Только сейчас я вспомнил, что, удирая, я позабыл вернуть ему карточку и письмо.

— Что вы пристааете?—возмутилась девочка. Она встала между мной и опустившим голову человеком „Идем, Костя, а вы гражданин не смейте приставать!

Он стоял покорным псом, а я чувствовал себя глупеньким щенком около клухи. Аня Студнева волновалась всех больше и что то тараторила. В ушах надоедливо вязнет: „Костя... Костя... Костя“. Слушаю слова родной речи и ни черта не понимаю. 27 лет честно носил имя Макара Дроздова, а тут украли его и называют „Костя“.

— Уходи—толкнула мысль. Подо мной точно оторвался клочек земли и я поплыл от неизвестных, но любимых берегов.

— Костя, куда ты?—плакал девичий голос. Сердце опалил огонь этих слов.

Я уходил. Мысли рвались, как прелые нитки. Оторвался кончик о застенчивости, потом появился

обрывок о человеке, ненавидящем бульвары, потом — о девушке, что так нежно смотрела мне в глаза. Что-то теплое обожгло сердце. И ругал себя, что ушел. Называл вслух болваном. А потом радовался, что все-таки ушел. Ведь от тех странных встреч пахло все-таки скандалом.

Шел быстро. Взгляд ложился далеко впереди. От перемещения точек зрения дома и заборы качались как на волнах. Я делал умышлено крупные шаги и этим усиливал впечатление пляски предметов.

— Товарищ, вы очень расстроены?

Оглянулся. Смотрю: опять он этот страшный незнакомец!... Но голос у него был совсем другой-мягкий, ласковый, и звучит в нем что-то близкое человеческому страданию...

— Идемте ко мне. Мне так нужно много сказать вам о себе, о вас и о „той“. Тут охватило меня непреодолимое желание узнать все, что сплетает мое имя с „той“ и этим противоречивым человеком. Я шел к нему точно голодный за куском хлеба. По дороге, к величайшему изумлению, я узнал, что это и есть тот самый Константин Ванякин, которому писала письма „та“ барышня.

Мы вошли в здание фабричной конторы. В Костинной комнате уже горела электрическая лампочка. На столе куча книг, тетрадки и разбитое зеркало. Костя задумчиво взбил свою шевелюру и прошелся по комнате. Его атлетическая фигура до зависти была хороша.

— Ты когда нибудь целовал горячую... нет теплую печь?

— Зачем это?—спросил я робко. А в голову всякая чертовщина.

— Ну поделуй!—Стал упрашивать Костя.

Смущенный до крайних пределов, я подошел к стенке изразцовой печи и покорно прижал губы к теплому изразцу. Губы ожгла приятная теплота.

— Ну что? так ли женщины—а?

— Да, говорю, что то есть общее.

— Есть?! Значить, ты знаешь?—Костя смотрел на меня в упор. И только сейчас я увидел пару черных бархатных глаз, вделанных в избезображенное оспой лицо. Они так чисты и привлекательны, что один взгляд в состоянии потушить все сомнения в доброте Костиного сердца. Я захлебнулся от радости.

— Как же, говорю, Костя, ты давеча деньги то у меня?... и слова такие... Чувствую, что слова эти ушибли его. Он взял свою голову и качал в руках.

— Аий—я—яий! да—да—да! прости это хмельное озорство, Макар.

В комнате у себя он говорил также фамильярно и легко, по-товарищески.

— Твое появление на бульваре в тот момент смутило меня. Я знал давно тебя и подошел, как к другу... Но вдруг захотелось поиздеваться над самодовольством красивого человека... Ты показался мне красивым теленком...

Он, как волшебник, стукнул кулаком по столу, а из под кулака рассыпалось серебро

— Возвращаю.

Где то в коридоре послышался звонок телефона. У Кости бледное, бледное лицо.

— Она—прошептал он—иди и скажи ей: он спит... Нет, не так. Что ей сказать? Да иди же скорей, Макар!... Нет не ходи! Пусть думает, что никого нет.

Костя волновался. Голос, который пугал меня на бульваре, был неподражаемо лиричен. Красивая атлетическая фигура, легкие движения влекли к себе мой взгляд. Но, несмотря на прекрасные глаза, не хотелось смотреть ему в лицо.

— Макар, это „та“, которая содрала скорлупу с моего сердца и вызвала душевный мятеж... Мне 28 лет, Макар, и для меня непонятна была жажда поцелуя... До этих пор не тяготило даже уродство. Мысль топил в работе и книгах. Все люди для меня были лишь голые цифры... Так поманит что-то, а ничего справлялся. А теперь—все другое во мне...

Я закурил папироску.

— Ты куришь? Брось! Я тоже бросил. Не потому, что вредно, а так интересно поиздеваться над собой, интересно бороться с привычками... И вот она живет во мне. Она во мне! Понимаешь, какая прония?!

— Кое что мне не понятно,—говорю.

— Сохрани, Макар, двухминутное молчание, я обнажу свою душу... вылью боль перед живым человеком.—После минутной паузы он начал свою исповедь.

— Топлю как-то вечером печи...

— Какие печи?

— Что тебя удивляет! Ну топлю все печи.. все...

— Ты же сказал, что был статистиком?

— А ну их к черту все конторы, канцелярии. Не лежит у меня душа к ним.

Бросил и ушел. Стал истопником... Не удивляйся. Что роднит меня с огнем—не знаю. Может быть, я лучше подхожу для кочегара, чем для статистика? Иногда мечтал я—устроиться гденибудь кочегаром на большом океанском пароходе. Не по призванию, а просто тянет, что то такое большое, огромное, сильное. Или вот кочегарка фабричная: тянет... Просто, а какую силу создает... Ну да ладно об этом потом. Зачем ты, право!—просил тебя помолчать...

Толкнув рукой воздух, Костя вернулся к начатому разговору:

Топлю печи... смотрю встали часы. Звоню на телеграф: Милая, говорю, барышня, скажите—сколько времени? „Почему—милая?“—спрашивает.—Да барышни, говорю, не милые не бывают. Она обратно: „У вас, говорит, очень симпатичный голос“. Смеется. А я думаю: поглядела бы ты на мою рожу. Говорили долго. Я и уродство свое позабыл... С тех пор, как только вечер, так и тянет так и манит телефон. Знаю, что топлю себя в пучине самообмана, а иду с радостью на эту гибель. Помню—просит свидания. Понимаешь? Она... мне свидание!? Под разными предложениями говорю: не могу! Гнев. Обида. „Ты, говорит, женатый...

обманул“. Вдруг неожиданно присылает письмо. Душевное письмо! и карточку. Смотрю: красавица! Просит прислать—мою. Ты понимаешь—мое лицо!? На душе—тоски море. Ну что тут делать, Макар? Не хочется пробуждаться от этого сна. Толкнула трусость: взяла и послала чужую... вот—эту.

— Да ведь это моя фотография.—Удивлено заявил я.

— Именно твоя...

— Откуда ж она у тебя?

— Пошел к фотографу за хорошим лицом. Выберу, думаю, на витрине, обману—продадут! Выбрал твою и послал.

Я смотрел ему в рот, видел как шевелятся губы. Одновременно в голове промелькнула картина на бульваре. Вижу себя случайным артистом в роли Кости, и жалею, что это—уже было. Сквозь рой видений я слышал Костин голос и не понимал его, как не понимаешь музыки в кино, когда все внимание захватила картина.

— Понял?

— Да.

— Понял ли, что я—это ты? Мой дух, моя тоска и любовь в твоей оболочке. Ы—ых, Макар! и все потому, что я урод...

— Это ты зря. У тебя—сила и богатое нутро!...

— Утешение из жалости? Кому нужно мое нутро? когда противная вывеска моего учреждения, как пугало на огороде отгоняет все живое от меня! Кому я могу поверить, что меня искренне полюбят за нутро? Я мишень для шуток, для острот. Пойми этот ужас, что тебя никто и никогда органически не может полюбить! А мне хочется любить всей силой своего существа. Быть отцом живых прекрасных творений. Ни слава, ни блеск, не могут заменить мне этих желаний! И не желаний, а требований моего естества.

Костя бросал слова большие и тяжелые, а я привык слушать мелкие и легкие. Голова начинала тяжелеть.

— Я научился ходить по земле и должен точно знать: для кого я должен болтаться на ней?...

Костя не успел закончить мысль, как в коридоре снова послышался тревожный звонок. Он рванулся за дверь, а потом встал и тихо, тихо сказал:

— Скажи, что я прохвост и обманул ее...

У меня не хватило духу подойти к телефону и бросить в трубку такие слова.

— Трусись! Ну пусть думает, что меня нет и не было...

Последними словами Костя силится отрезать за собой счастливые дни „возвышающего обмана“.

Я не пил вина и—испытал с тоски. Утром сегодня—тоже. Но это гадость, как соль разъедает живые раны... Думал повеситься, но жаль силы. Повеситься на веревке, которую я рву голыми руками? Не могу! Иногда кажется, что сила моя не может вместиться во мне. Подойду к углу первого попавшего дома и думаю: опрокину, как порожний ящик!.. Еще жаль: много книг не прочитано... Жаль вот этот магнит-показал он на тетрадку, которой отдавал самые лучшие свои мысли... Как уйдешь от жизни? когда каждый час—история.

Он говорил устало, почти шопотом. Поздно ночью, когда я уходил от Кости, он смерял меня измученным взглядом бархатных глаз и, прощаясь, сказал:

— Заходи.

Повернув разбитое зеркало к стене, он что то хотел сказать еще и, после коротких колебаний, стыдясь своей нежности, сообщил:

— А знаешь?... ее зовут Надей...



БАЛЛАДА О КОНОКРАДЕ

В поле выцветшею лентой
Тропка вилетена.
В поле в зорних позументах
Дремлет тишина.

За полями сад совхоза —
Словно взят с картин.
Уцелели еще розы
На углах куртин.

Сад вчера шумел тревожно,
Сад вчера был строг,
Осыпая на дорожки
Ливня серебро.

Но зато сегодня спелась
Сад и сон земли.
Сад сложил, как руки, шелест
На груди у лип.

Если вечер тих и грустен,
Слышно далеко,
Как, пожаловавшись, хрустнет
Под ногой сучок.

Как проник он за ограду —
Вечер не видал:
Выручает конокрада
Мутная звезда.

Пусть хрустят сучки обидой,
И кусты звенят, —
Все равно он спит и видит
Этого коня.

Выкормленный на заводе,
Узел мышц и сил,
Шелковым идет он ходом,
Жаркий глаз косит.

В голубые переливы,
Лишь поникнет мгла,
За конем следит ревниво
Конокрада глаз.

Он сказал себе: — Сегодня!
Смерть пль торжество.
Только месяц щит свой поднял,
Не спросясь его.

И когда к прекрасной гриве
Он припал — и в скак, —
Щелкнул сухо и ревниво
За спиной курок...

...Конь лежал недвижимой грудой.
Глаз стеклел агат...
Над остывшей конской грудью
Плакал конокрад.

ooooooo

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

I.

Ефим Недопетов, прядильщик, сухой, сгорбленный старик, с бесчисленными морщинами на желтом лице, со впалыми щеками, с темными замутившимися зрачками глаз — несмело вошел в обширную светлую контору, словно первый раз; нерешительно остановился около конторки расчетного и терпеливо стал дожидаться, когда тот кончит хлопать на счетах. Но хмурый конторщик открыл огромное „ресконтро“ и снова еще прилежнее и усиленнее принялся играть шашками, перекидывая их по медной проволочке, да так сильно, что у Ефима Кузьмича зашумело в голове.

Долго он стоял так, немного склонив голову и придерживая в руках изношенный картузик с давно потускневшим козырьком, и наконец спросил конторщика:

— Яков Спиридоныч, ращет-бы мне-ка!...

— Что?

— Ращет-бы, говорю, мне...

— Посидите немного.

— Хорошо, родной, посижу...

Конторщик снова начал хлопать на счетах, а Ефим Кузьмич уселся на диванчик, погружаясь в свои думы.

Тридцать пять лет он работал прядильщиком, много пережил всего, много видывал, а вот сейчас скоро возьмет расчет и окончательно порвется все, что связывало его с этими стенами... Старость прогоняет, а если бы не она проклятая...

Перебирая все мелочи Недопетов вспомнил и представил себя подростком: вот он, маленький, невзрач-

ный, прибежал вот в эту контору за первыми получками. Сколько потом уже, когда вырос и выучился работать, научил работать других таких-же подростков. Сколько? Нипочем не вспомнить старику Ефиму Кузьмичу.

Ох-хо-хо-о...

Вздыхает Недопетов и не верится ему: — Неужели — все кончилось, неужели прошла, усакала невидимым конем вся жизнь — неужели?

Длинная цепь воспоминаний копошится в голове и с кинематографической быстротой пролетают перед глазами картины: вот он молодой, здоровый проходит рабочей слободкой с гармошкой и очаровывает слободских девок... Видит родную деревню, тихие поля, перелески... Потом японская война, фронт... Потом в голове Кузьмича с отчетливой ясностью встал кошмарный сон сегодняшней ночи. Множество гремящих машин и вертящихся с демонической быстротой приводов. Машины с каким то страшным хохотом и ревом наступали на него и вот одна из машин вдруг подхватила его и выбросила в окно из четвертого этажа...

Эх, ведь и чего только не наврется...

Давайте документы! — вскричал внезапно конторщик, отчего Ефим Кузьмич как-то припрыгнул и не скоро встав подошел к конторке, отдав целую пачку бумажек в руки расчетному.

— Ишь, ведь, сколько их, — раздумчиво пробубнил конторщик, рассматривая документы.

— И-и, родной мой, ходил, ходил, да все, вишь, мало говорят, не полные, гыт, бумаги-те. Измучился.

— Сидите, я скажу вам как готово будет.

— Ну, ну — хорошо... Посижу...

Сел на диванчик. В контору вошла старушка и осматриваясь, она наконец увидела диванчик и присела на него.

Ефим Кузьмич внимательно и долго рассматривал соседку, потом спросил:

— Матрен, да это ты, волк тебя заешь?

— Я, я...

— Зачем?

— Ращет беру, в навалиды.

— Вон што, вон што... Вместе, значит?

— И ты тоже?

— И я, родная, довольно уж. Пущай молодые поработают, а нам пора.. пора, да..

Помолчали.

— Дожили, значит... А ведь раньше-то помнишь, Марковна, как здорово работали, что твои лошади ломили...

— Не говори, Кузьмич... Век не забуду. Пара у меня была просто золото, у окошка тогда работала я... Бывало смена-то за час кажется: сорта-те хорошие, медиво*) работала. Ну прямо одно раздолье.

Давеча иду сюда вот, да и думаю: дако, мол, зайду посмотрю кто на машине-то работает... Пришла в корпус, гляжу: молоденькая какая-то стриженная девченка тормошится...

Конторщик вскричал:

— Недопетов!

— Я здесь, родной...

— Вот вам ордер, тут все готово — ступайте в кассу и получайте...

Недопетов взял из рук конторщика ордер и опять к Матрене:

— Ну, Марковна, прощай!..

Марковна протянула сухую, костлявую руку.

— Захаживай когда гулять-то-о.

— Ладно, Ефим Кузьмич, ладно, зайду.

— Да ты все в той-же казарме-то стоишь?

— В той, в той — в шалмане... К рошше окош-ком моя-то каморка.

— Ну, ну — зайду я, зайду.

Расстались.

*) Особый сорт пряжи.

II.

Из конторы Ефим Кузьмич направился прямо было в корпус, но его задержал суровый сторож сердитым окриком:

— Куда, эй — куда ты?

Ефим нерешительно остановился и сторожу:

— Пусти, брат, в корпус я, к машине...

— Зачем? Заведующий увидит!

— Я скоренько, живо я...

— Ну ладно, иди уж.

Ефим отворил тяжелую дверь и побрел в корпус. В корпусе повеяло на него опять родным, пережитым, знакомым. Незаметно он протрусил ватерный отдел, банкаброши и очутился на мюлях за своей машиной.

И когда прислушался к родному рокоту, железной песне старинного товарища, не утерпел: сбросил с плеч пиджачишко, засучил как бывало до локтя рукава и ну присучать нитки.

Машина звенела, пела, а Недопетов лихорадочно работая говорил с ней, как с человеком:

— Поработал я на тебе, миляга, довольно уж. Ухожу теперь, прощай — не увидимся боле... А кабы не старость, пожили бы мы с тобой, поработали, да... Да вот старость эта окаянная гонит, со света сживает... А хорошая ты у меня, друх, аглицкая. Помню я, очень даже отлично запоминаю, когда тебя, дурочку, ставил анжинер Шепер... Х-хороший детина был...

Рабочие, до сего времени незамечавшие копошащегося за машиной человека, теперь только заметили и удивленно смотрели на Ефима и один из них прядильщик Архин подошел к Ефиму и на ухо ухнул:

— Жалко машины то видно?

Ефим грустно улыбнулся.

— Привычка... Сколь годов тут теньшил, а вот теперь уходить приходится... Ефим оторвался от машины, надел снова пиджачишко и, распроставшись с товарищами, покинул корпус.

Шел грязным двором, а под ногами хлюпала, будто плакала, жидкая дорожная грязь. Над головой неслись серые тучи, выбрызгивал дождик, черный дым из труб изгибался коромыслом. Пахло крепко гарью, машинным маслом, отработанным паром.

Ефим Недопетов оглянулся, еще раз посмотрел на корпус и вспомнив, что ему еще надо в кассу, засеменял по двору, разбрызгивая грязь.

Сжимая в руке желтенький ордерок, он старался поспеть, чтобы не опустить кассира. Но ноги двигались плохо, отказывались нести одряхлевшее тело.

— Шабаш, подработались ноженьки мои. А бывало-о...

И слышал: — трацкие станки будто повторяли его слова:

— Бывало, бывало, бывало...

Ефим торопился подбадривая сам себя:

— Ну, ну, Ефим — скорей, по бывалому што-ли...

И тут же снова остывал:

— Ах, мать честная, не поспею, пожалуй, не поспею...

Ефим черной точкой мельтешил впереди, далеко откидывая в сторону руки и расставляя широко, но как-то неуверенно, уставшие, стариковские ноги.



ПЕСНЯ ПРОДАВЦА

Детство таяло в роскошных магазинах,

За прилавком юность не видал.

Что о детстве память сохранила,

Я пытаюсь в песне передать.

Как бывало кончится торговля,

Все идут спокойно отдыхать.

Для меня, мальчишки, нет покоя:

Двор хозяйский надо подметать.

Поздно ночью добредешь к постели,

Только здесь, в любимой тишине,

Отдохнешь в объятьях сновидений

И отдашься грезам и мечте.

Упадешь на грязную подушку,

Словно мать, руками обоймешь,

Зарыдаешь на одну минутку

И, не кончив, тяжело уснешь.

Поглядишь, за старшего поставит.

Купит честь и сердце молодца.

Сапоги, сорочку, брюки справит,

Поднесет кавказского винца.

Чай, табак, для лампочек тесемка,

Карамель и сахар рафинад, —

Корчевали целину ребенка

И в душе поселили разлад.

А витрины, словно насмехаясь,

Издевались над моей душой,

Помню я, — то дело было в мае, —
Убежал за двести верст домой.
Этот путь, тяжелый для ребенка,
После пытки раем послужил.
Помню дома я ласкал теленка,
Говорил ему о том, что пережил.
Побежал к кормилице буренке.
Обнимая шею, целовал,
Говорил ей: — „Твоему ребенку,
Дорогая, все я рассказал...“
Две недели. И опять в неволю:
Колотушки, окрики и брань.
Хоть недавно только отпороли,
За прилавок, улыбаясь встал.
Вот какая раньше обстановка
Создавала в лавках продавца,
А купцов ехидная уловка,
Вытряхала честность у юнца.
Слушай, бронь, мою простую песню,
Вас куют не прежние купцы,
Не пинками и не подлой лестью
Вам кладут познанья продавца.

ооооооо

С Р А Б О Т Ы

Синеглазый гигант отшумел...
Гул моторов и дизелей стих.
Надрываясь гудок прогудел
И, внезапно, до утра — затих.

Миллионной, живою волной
Из дверей хлынул черный поток...
Месяц по небу плыл золотой,
Дымных тучек накинув платок.

Отдавался в немых корпусах
Эхом топот бесчисленных ног.
Там, вдали, в голубых небесах
Потускнел догорая восток.

Заскрипело в провалах дверей...
Где то, жутко завyla собака.
Месяц сыпал каскады лучей
На угрюмые краны и баки.

Расплескалась живая волна...
В переулках зажглись огоньки...
Воздух сжала в кулак тишина,
Песни стали туманно легки.

Мой завод синеглазый уснул,
Окруженный кольцом фонарей.
Ветер с теплою ласкою льнул
К серебристой листве тополей.

ооооооо

МОЛОТ

Раньше в слесарной мастерской, на рубку болванки времени много уходило, а Вагин станок такой придумал. В свободные минуты из старых частей собрал,—теперь малый ребенок любую железину перетяпнуть может,—и хоть бы что.

Стали Василия на фабрике все уважать. Только вот механик его недолюбливал: для чего, де, в каждое дело слесарю соваться. Без его знают что нужно устроить.

Старый Вагин, к этому времени в инвалиды уже перешел, и исподволь любовался сыном, которого из за уважения мастеравые попросту называли Кузьмич.

— Ты у нас вроде монтера аглицкого,—дружелюбно замечали ему товарищи по работе.

В каморке Вагина, действительно было наподобие технического кабинета. Угол такой ширмой был отделен. На столе чертежи разные, эскизы. Ночь бывало не спит, если чего задумает.

Видит Василий, как кузнецы с крупной работой маются. Ежели крупную вещь делать, всей кузницей сходятся, да под „дубинушку“ кувалдами жарят, а все без—толку. Тут главное сила нужна,—удар крепкий. Без парового молота никак не обойдешься. И стал Василий над устройством молота голову ломать. Ночи не спал когда над конструкцией работал. Наконец через месяц все было готово. Василий придумал, приводить в действие молот приводом,—ерошками от старой колотилки

По его соображениям, молот должен действовать с расчетом на десятипудовый удар. Посвятил в свои

планы механика, тот и в ус не дует. Долго, прищурясь рассматривал схему, потом нехотя сказал:

— Не делом товарищ Вагин занимаетесь.

— Да как же, ведь польза от этого большая.

— За ручник бы крепче держались. Без вас люди найдутся—выдумают.

Не ожидал Василий такого ответа от механика. Точно ошпаренный из кабинета вылетел. Тронулся Василий на производственное. Проект одобрили, и в трест отослали, да так и застряло—ни слуху, ни духу. Долго ждал Василий решения, даже верить перестал, что его мечта может осуществиться.

От разных передраг, да неурядиц Василия на мелочи потянуло. Тетка Дарья, мать его, к этому времени совсем оглохла, Поставит самовар, да и забудет. Шишится около, а не слышит, что самовар паром выходит.

— Я тебе, мамаша, звонки к ушам приделаю,—раз шутя заметил Василий.

— Ну-ко тебя, кумекало. Жениться пора, а ты только и знаешь свои тиски.

Действительно женским притяжением Василий был обойден. Ему было уже около сорока лет, но о женитбе он всетаки думал меньше всего. Его жизненная энергия уходила в другое.

Шутку насчет самовара Василий обдумал серьезно

Дня три форсунку старую подлаживал, к воскресенью готово было. Узнали в казарме про его затею. В воскресенье в кухне всем гагалом собрались,—из других казарм поинтересоваться пришли, а ребяташки даже объявление на стене углем написали:

Слесарь Вагин такой самовар сделал со свистком. Кому не лень придите, на кухне бесплатно показывать будет.

Ждать Василия долго не пришлось. Не успел из каморки с самоваром вывернуться, как ребяташки загорланили:

— Вагин идет! Самовар несет!

Василий спокойно прошел к кипятильнику, разогрел самовар и завернул ножку. Некоторые назойливо спрашивали.

— Долго ли не засвистит?

— Обман может!

Василий вынул из кармана медную штучку и вернул около канфорки, а минут через пять, — самовар рывкнул вроде фабричного гудка. Бабы от удивления поразинули рты.

— На сегодня будет, — сказал Василий отвертывая форсунку. Так можно и без чая остаться.

Через несколько дней, про свистящий самовар знала вся фабрика.

В уездной газете даже напечатано было:

— „Рабочий Вагин изобрел свистящий самовар, — это изобретение дает возможность женщине рационализировать время. Сейчас Вагин работает над устройством к самовару колес, самовар будет сам ездить на кухню и обратно приезжать с кипятком“.

— Хорошо написали, — смеялся Василий. Еще бы про молот черкнуть, сколько время волынка тянется.

А через неделю и решение пришло. Проект приводного молота одобрили, слесарю Вагину, как изобретателю предлагали выдать премию, а так же вести устройство молота под его наблюдением. Механик даже к тискам Вагина сам прибежал. Запыхавшись конфузливо начал:

— Вы, товарищ Вагин, не сердитесь, теперь все оформлено. Завтра и сборку начнешь.

У Василия даже слезы навернулись от радости. И верил, и нет, что дело такой оборот поймет.

На другой же день закишела работа в кузнице. Василий с метром похаживал, показывал, что где ставить.

Когда стали производить пробу, собрались все мастеровые. Василий как угорелый кружился около молота, закреплял последние гайки.

Для пробы накалили железный вал и положили на наковальню.

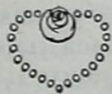
Василий дернул сводку, пест молота медленно поднялся кверху, а потом с силой грохнулся на раскаленное железо. Сотни ослепительных брызг закружились в воздухе, а пест опять поднимался для нового удара. Экспертная комиссия признала молот слесаря Вагина—пригодным.

Вечером в тот же день Василия чествовали. На производственном собрании от фабкома ему преподнесли подарок—полный набор для черчения, а директор фабрики громогласно объявил: что за прилежную работу и за рабочую смекалку слесарь Вагин выдвигается на должность слесарного мастера.

Гром аплодисментов и музыка слилась в одно. Мастеровые подняли Василия на ура. Долго его качали.—приветствовали своего мастера из рабочих. Василий умильно хлопая глазами, поминутно твердил:

— Мне что. Я тут не причем. Зачем за дарма работать. Главное что бы польза была.

Присутствовавший старик Вагин, украдкой смахивая непослушную слезу, не выдержал восторженного настроения. Он подошел к сыну и при всех без стеснения троекратно поцеловал.



* * *

Лес годов охвачен листопадом,
Листопадом отзвеневших дней.
О потерянном грустить не надо —
Жизнь не будет хуже и бедней.

Дни увянут. Свяжем с ними все мы.
Будет жизнь попрежнему нова.
Наши песни, как сухие схемы,
Никого не будут волновать.

Песни бури!.. Я сегодня весь в них.
Жизнь других еще не родила.
Нам не жаль, что отгрохочут песни
Если песен радостней дела!

○○○○○○○

ОТХОД ПОЕЗДА

Лозинное сребрестволье,
Осиновая медь и звон.
Мне о другой, бродяжьей воле,
Рассказывает он.
И я от радости немею.
Восторг сдержу — едва...
Меня в полях стальные змеи
Лукаво манят в даль.
И паровозик куралесить
Устал и встал в лесах.
В вагоне сереньком Олеси
Веселые глаза.
Глаза веселые... Но проще
— Прощай! — сказала ты.
Когда клубился пар над рощей
И падал в рощу дым.
Близко родимое Полесье —
Болота, кочки, гай...
Прощай, веселая Олеся,
Прощай, прощай.
— И сразу мало стало воли —
Умчался грозный конь.
...Остались лозы—сребрестволье,
Осиновый огонь.

З М Е Я

Прощай, Меллас!

Как бурей выброшенный челнок, греется на прию, тившем его берегу и рассыхается все больше и больше — так я подставлял под жаркие лучи твоего солнца свои подбитые в жизненных бурях бока, вопреки наставлениям доктора Лямина.

О, доктор! Я с благоговением уношу с собой ваши мудрые предостережения и советы благоразумия, но согласитесь, что человеку, исхлестанному в непогодах холодным ветром и злой волной, глупо было бы прятаться от согревающей благодати. Тут есть своя логика, может-быть, и вполне основательно призраемая здравым смыслом вашей достопочтенной науки.

Меллас! Для многих и многих останешься ты в воспоминаниях, как прекрасный, весенний сон, как глоток хрустальной воды в горле путника, умирающего от жажды в знойной пустыне, как чудесный пластырь, умиrotворяющий неизлечимые каверны души. Лазурь твоего неба, возвышенная и чистая, как улыбка проснувшегося ребенка, тонкий, вдохновенный лепет твоих пальм и лебединый трепет вздрагивающих кипарисов, и мудрое молчание седых скал, и непереставаемый, незабвенный шум вздыхающего моря, могучего и прекрасного в гневе и в тихом покое, — все, все в тебе, на каждую душу живую, подействует очистительным огнем своей непостижимой, целомудренной, всепокоряющей красоты!.. Каждый отойдет от тебя чище и светлее, на минуту забывая трясину пошлости, переполняющей его житейские будни.

Но... Ничто в мире не ограничивается одной стороной. Всякая медаль имеет обратное изображение. И самое прекрасное лицо может соорудить отвратительную гримасу. Я не только знал это, но и чувствовал — так же хорошо, как и то, что неделю тому назад благословенное солнце юга, заставляющее улыбаться мертвецов, так улыбнулось моему санаторному другу Сереже Зубову, что он теперь никогда больше не почувствует ничьих, вообще, улыбок: он истек кровью на золотом берегу моря.

По этому во мне живут два мира, два человека. У меня два голоса, два взгляда: скептицизм и расчет — скверное порождение опыта, — и детская вера в прекрасное, вечно-человеческое.

Сегодня, в тридцать первый и последний день моего пребывания на светлой земле, мне захотелось верить...

* * *

В море, в стороне его, где скрытые полотнами лазурно-синих далей, притаились две страны: Румыния и Болгария, — шел советский линейный корабль. Днем он шел от Севастополя на юго-восток и мы рассматривали в бинокль чудовище; в его кажущейся спокойной медлительности была одна простая, железная жестокость. Сейчас корабль шел в обратном направлении, он казался совсем неподвижным, и в небе, над его носом, зажигалась большая, яркая, синяя звезда.

Я долго смотрел на эту звезду, любуясь ее старательными попытками зажечь, ярче и шире других, голубое пламя своего сияния, а второй голос во мне — хрупкий, надломленный голос веры, — шептал:

— Зачем враждуют люди? Зачем даже те, которые несут человечеству освобождение, свои идеи, готовятся утверждать человеческой кровью? Зачем жизнь человеческая, через самих же людей, становится двойным проклятием? Зачем?!!

Это был старый затасканный вопрос проповедника христовой правды, вопрос наивного ребенка, кото-

рому взрослый может ответить лишь молчаливой улыбкой.

А в годы минувших битв, когда апостолы этой правды, свернув свои евангельские знамена, сами встали по ту сторону баррикады, — единственно-достойный ответ на святой вопрос мы несли в магазинных коробках винтовок и на губительном острие своих испытанных сабель.

Но тишина последних лет вытравила из моего слуха громовые мелодии недавней борьбы. Мой красноармейский взгляд давно не скрещивался с цепким взглядом врага: враг лежал успокоенный в земле, или, выпотрошенный, жалкий и нищий, скитался по чужим пределам, или здесь, около меня, принял защитный цвет советского гражданства.

Уже четыре года прошло, как я вместо боевого клинка, сжимаю в руке обагрённую чернильными кляксами ручку делопроизводителя укомхоза. Вместо казачьего седла и огнеглазой, как ветер быстрой „Зары“, подо мной мирно поскрипывает облезлый, венский стул с дырой на просиженном сиденьи. Вместо отчаянной сотни червонных казаков, четырнадцать раз грудью прорывавших смертоносную цепь неприятельского фронта, под моим командованием сосредоточена тяжелая, пешая армия из одного входяще-исходящего отделения и пулеметного взвода из двух стучающих пиш-машинки. Сердце мое, когда-то закаленное сердце воина, завяло в безбурье, покрылось плесенью и морщинами, как гриб на стене затхлого подвала. А сегодня... сегодня я даже позабыл о пуле, которая прошла через мою грудь и легкие под селом Адамань на смертных подступах Перекопа.

Да, сегодня я многое забыл. Сегодня сам я превратился в ребенка, обласканного нежной рукой матери. Мне хотелось верить...

Я слушал-слушал лукавый, младенческий лепет и все ниже склонял свою, мудрую опытом и светлую верой, голову...

Изумрудное море сияло миллионом счастливых глаз и улыбок. Лазурь неба сошла на землю. Светло-кудрое золото солнца сыпалось вокруг меня все зажигающим блеском. И небо, и море слились в одном светлом дыхании. Было так ярко-светло, что даже старые, неподвижные камни у берега, казалось, были наполнены трепетным дыханием жизни и тщетно старались скрыть веселый смех в своих извилистых морщинах.

Раскрывая грудь навстречу, напиральной со всех сторон, радости бытия и беспричинно радуясь вместе с сияющей вокруг меня природой, я тонким слухом, вдруг, уловил чуть слышный, нежно-звонящий шорох.

Я обернулся и увидел с правой стороны, как из расщелины огромного, обросшего седым мхом и серебряной пылью камня, поблескивая чешуей, выползала большая змея.

Я удержался от движения и застыл в отдалении. Через мгновение змея была от меня в двух шагах и, перегнувшись через другой небольшой камень, приподняла свою приплюснутую голову.

По спине моей пробежали мелкие, холодные строчки. Мерклый, льдистый, остро-ненавидящий взгляд цепких глаз гипнотизировал меня.

Прошла минута. И вот в моем раскисшем сердце родилось страстное желание: приласкать гада, дотронуться до него рукой.

— „Человек, испытай силу добрых побуждений твоей души. Человек, вся тварь была бы покорна твоей воле, если бы ты сам не носил в себе постоянного инстинкта убийцы. Человек, испытай — и поверишь“. — Так настойчиво горячо шептал мне голос. И мне даже показалось, что змея уже поняла меня, человека, поняла своим инстинктом побежденной твари. Глаза ее сузились и засветились особенным мягким блеском. Я принял это за знак ее готовности покорится воле высшего существа, которое смотрело из моих глаз.

Но, в тот момент, когда пошевелился первый мускул моей руки, я вдруг почувствовал в ней жгучую боль и холодное прикосновение гадины. Я вскрикнул... и огляделся кругом. Был уже поздний вечер. Тихо и безмятежно сгорел закат, раскаленный шар солнца скатился за бледно-лиловую черту. Море вздыхало у береговых камней, закипая белоснежной пеной.

Под правой рукой у меня лежал острый камень, в него я толкнулся соскользнувшим локтем.

Да, это был сон, греза. Я поднялся. Шагах в десяти от меня уползала под скалу настоящая, живая змея...

Я долго стоял, не шевелясь и не улыбаясь, вздрагивая лицевыми мускулами, не сводя глаз с уползающего врага. Врага! — Темный и мудрый инстинкт крови крикнул мне это жестокое, железным холодком обжигающее слово. И кроме этого крика, я не слышал ничего больше. Замерев на месте, я следил за каждым движением змеи. А в руках у меня были два камня, вполне достаточной величины, чтобы раздробить не один, а целых два ее черепа.

* * *

Поднимаясь по каменным ступеням, сквозь тесный строй вытянувшихся в струну кипарисов, я еще раз обернулся к морю и посмотрел туда, где темные полотна скрывали оскаленные пасти сторожевых псов империалистической Европы... — Наш советский боевой корабль, спокойно вглядываясь по сторонам немигающими, кроваво-мутными глазами, значительно двинулся вперед. Синяя звезда осталась далеко позади и падала в море.

И тогда грудь моя, простреленная офицером Дроздовской дивизии под селом Адамань на смертных подступах Перекопа, вздохнула свободно. И два камня, которые все были еще в моих руках, я швырнул в сторону, как ненужную тяжесть.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИВАНА СОСКИНА

В фабком вошел прядильщик Иван Соскин, худощавый человек лет сорока, в затасканном и неумелой рукой сшитым пиджаке, покрытом налетом хлопка, точно поле первым снежком, и спросил у сонного делопроизводителя.

— Сергей Архипыч пришел?

— Пришел.

— Он тут?—показал Соскин пальцем на полуоткрытую дверь.

— Тута...

Соскин входит к председателю фабкома, виновато улыбаясь.

— Что ты, Соскин какой сморщенный?

— Страдаю.

— Страдаешь?... Ишь ты. Сам, ведь, виноват.

— Потому и страдаю, Сергей Архипыч. Разули мне глаза-то, я и понял, что преступность получилась. Теперь мне, Сергей Архипыч, житья нет. Я до чахотки дойду. Пра-а... Все время страдаю. Только и покою нахожу дома. А на фабрике или в пивной на меня одни насмешки. „Эй—говорит—Соскин, когда доклад сделаешь? Эх, ты говорит, тоже в коммунисты записался, тоже в пленум фабкома прошел“.

— Терпи. Со временем забудут, -посоветовал Сергей Архипыч.

— А я думал по другому вылезти. Вчера лег и минут десять не спал—все об этом думал. Вот что: не будет ли на этих днях какой подходящей конференции или пленума. Пошли ты меня.

Послушаю запишу и доклад наркомский сделаю. Покажу себя... Поправлюсь... Подыму свой авторитет... А то на перевыборах из пленума фабкома меня высадят.

— Это можно. При первом ветре. Только ты, Соскин, не подкачивай.

— Да уж во все силы.

Я догнал Соскина на лестнице, так как его претупление, из-за которого он так страдал, меня сильно интересовало.

— Как-же, можно рассказать,— ответил мне Соскин на мою просьбу передать свою скорбь: — ежли вдуматься, конечно, дело это интересно. Я тебе с самого начала. Вызывает меня Сергей Архипыч телефоном в фабком. Конечно дело, я прикатил. Поезжай, говорит, Соскин, в город на культурную конференцию. Конечно дело, я с полным удовольствием. Подали мне лошадь впорлетке и при кучере. Конечно дело, сел я. Могошь, говорю кучеру, трогать. Пролетка на лесорах и на резиновом ходу покачивает, как в зыбке. Полчаса и в городе— пять верст. Приехали. Разыскиваю я культурную конференцию и встречается мне с нашей фабрики делегатка Шабалкина. Конечно дело, поздоровались.

— Что нового?— спрашиваю.

— Да вот, говорит, в кооперативе с сегодняшнего дня по литру постного масла выдают. Я уж получила.

Смылась она, а мне далось в башку получить масло. Жена каждое утро ворчит—масла нет, сам за стол сядешь—неподмазаное чижало идет. Паевая книжка при мне изгодилась, купил я у ситровщика две бутылки и попер получать. Очередь — вот с забор. Встал. Стою десять минут, стою полчаса, стою час. Вдруг слышу терпенье у меня лопнуло и пошел я под самый перед. Конечно дело, на меня закричало человек сорок. А я на них. Я кричу—я с конференции,

у меня дела, я член... Мы, кричат, сами члены. Конечно дело, прения дошли до жалобной книги и до скандала, но меня поставили на старое место. Стою. Уходить теперь поздно, потому что бочку видно. Конечно дело, получил я. Пришел я на свое культурное совещание. Вынул я из партманета свой мандат и спрашиваю шопотом у крайнего:

— Где тут отметитья?

— Какое уж отметитья,—говорит он:—мадама, которая записывала, домой ушла.. А председатель слышу, объявляет:

— Теперь перейдем к разным делам.

Вышел я после разных делов на улицу, сел в пролетку и говорю кучеру:

— Могошь трогать.

Конечно дело, покачиваюсь и масло что-то мне немило стало,—так бы и выкинул.

Через четыре дня у нас пленум фабкома. Делай, говорят, Соскин, доклад с конференции. Что же ты, говорит, дрожишь? Отвечай... На закури. Знаем, что доклад первый раз очень робко делать, да надо привыкать и дрожать тут нечего. Валяй. Не робей. Про разные дела,—отвечаю,—могу. А про остальное? Остальные, винчусь я, так себе были—неважные. Конечно дело, не поверили и прижали меня. Вякал я долго, но пришлось сознаться. Фыркнули... А Василий Васильевич, секретарь партийной ячейки отозвал меня к себе в кабинет, да и начал меня накачивать. Ты, говорит, идеи Владимира Ленина на масло мромменял. Ты, говорит, дивидум. Твоя, говорит, Соскин, личность перевесила общество. У тебя, Соскин, шкура, говорит. Ты — Соскин, плохо подкован. Ты,—кричит он,—политграмоту учил?

Учил,—говорю. Так что же, говорит, ты... Ты сорвал у нас, план культурной работы, потому как мы ничего не знаем о культурной конференции.

Я тут вытираю пот красным платком и говорю:—
—Ф-у-у... Хватит, Василий Васильич. Понял я, все по-
нял. Тут я вспомнил, почему мне еще на лесорной
пролетке масло хотелось выкинуть. Тут я все и рас-
кусил:— сидит в нас единоличник и отталкивает идею.
Прозвище мне уже дали:—Ваня Мазаной. Эй ты, гово-
рит, Мазаной. Конечно дело, теперь надо подымать
свой авторитет.



М А Т Е Р И

Над деревней висит тишина,
Улеглись колесные ступи.
Вот опять ты сидишь у окна,
И обнять тебя — тянет луна
Исхудалые желтые руки.

Тихо все. Лишь кузнечик звенит.
Да за окнами стыннут березы...
Ну зачем тебе, мама, грустить?
Ну к чему эти горькие слезы?

Не терзайся бессонной тоской —
Я храню голубиную нежность,
Только этот домашний покой
В моем сердце тревогою брезжит.

Там за домом — отцовский сад,
И в аллеях цветущего сада
Я когда-то был очень рад
Распивать дорожную прохладу.

Я любил этот тихий уют,
Где под кровлей зеленого дома
Безразличные „ходики“ бьют,
Навевая тягучую дрему.

Все любил. Но года ушли...
Окрещенный житейским уроком
Я увидел — мечты мои
Мне явились большим упреком.

Оттого я покинул дом
И аллен цветущего сада —
Ждет борьба за спокойным окном
И зовет обновленная радость.

Если сердце пылает огнем,
Если плавится новой любовью —
Душен мне этот каменный дом
И не нужен покой изголовья.

Слышишь, мама, там песни звенят
Звонче этой плакучей березы!
...Ну, прощай, дорогая моя,
Ну, утри-же ненужные слезы...

В С А Д У

Уж лунные косы упали в траву,
Залив позолотой на вишнях листву.
Уставил задумчивый, оконный взгляд
Твой дом в зачарованный, сказочный сад.
Где властно легли тишина и покой,
Где ждал я, волнуясь, свиданья с тобой.
Я ждал — ты тайком прибежишь на крыльцо,
Улыбкою теплой украсишь лицо.
Чтоб я головою в тоске не поник,
Пусть ласки восторженной теплится миг.
Я ждал... Но все также спокойно окно,
И чудилось мне, что смеется оно.
И здесь, в тишине, средь вишневых теней
Я ждал — подааньем — улыбки твоей.
И стало мне стыдно, и стало не в мочь
Грустить по тебе в эту лунную ночь.
Сегодня опять, как всегда, в корпусах
Мне сидел цветистый смеялся в глаза.
И завтра, и после под шорох ремней
Он мне улыбнется еще веселей.
Там нет унижений, печали с тоской.
...Я молча покинул вишневый покой.

В П О Л Я Х

Лугом вьется речка, серебром сверкая,
С лугом рядом поле — льется рожь густая.
Белые гречихи, сизые горохи...
Ширь ржаная с ветром посылает вздохи.
Наклонились в поле щедрые колосья,
Гей, поля родные, вам привет принес я!

На горе, за речкой, до пахучей ночи
В оржаниях смеется кумачем платочек.
Солнце полыхало радужней, чудесней,
И волна ржаная уносила песню.
На серпе у милой солнце разыгралось,
Сердце аржаное выспелило радость.
Жнейка-говорунья аржаня колышет,
-- Милая, я еду, милая, ты слышишь?

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Мих. Шошин — „Рассказ про ковбоев“	3.
2. Дм. Белов — „На письмо из дома“ — стихи	10.
„Праздник“ „	11.
3. Ив. Мартынов — „Стихи о Бетховене“ . „	12.
„У памятника Гоголю“ „	13.
4. П. Литов — „Мятеж Кости Ванякина“ — рассказ	14.
5. А. Варфоломеева — „Баллада о конокраде“ — стихи	22.
6. Дм. Беликов — „Последний день“ — рассказ	24.
7. Ив. Давыдов — „Песня продавца“ — стихи	29.
8. К. Скворцов — „С работы“ — „	31.
9. Ив. Молодняк — „Молот“ — рассказ	32.
10. В. Кочетов — „Отход поезда“ и др. — стихи	36.
11. П. Платонов — „Змея“ — рассказ	37.
12. Мих. Шошин — „Преступление Ивана Соскина“ — рассказ	42.
13. Ив. Петров — „Матери“ — стихи	46.
„В саду“ — „	47.
„В полях“ — „	47.

